

*А.В. Рубцов*

### **Хроники российской легитимности: четвертое измерение**

За последнее время все изменилось, но никуда не сдвинулось. Общество шагнуло вперед и попятилось. Закручиванию гаек мешают срывы резьбы; протест ходит кругами – ищет новые форматы. В энергичных пробуксовках и топтании на месте вконец стирается тонкий слой несущей поверхности, пока еще удерживающий ситуацию в относительном и весьма неустойчивом равновесии. Уже ясно, что выход из нее сложнее, чем казалось, и точно не в горизонте обыденного понимания.

В моменты нестабильности, на сквозном транзите, особенно важен адекватный язык описания. Тем более в стране, в политической фактуре которой все сплошь имитации и обманки, а слова и вещи друг другу чужие. Однако перерождение затронуло такие глубины социального порядка, что взывает к темам, которые пока вообще вне языка, к предметам, сразу не видимым и почти не обсуждаемым, а значит, «непромысливаемым». В политическом своя архитектура: помимо конструкции власти есть природа полей и сил, которые эту конструкцию держат. Это как разница между основами конструирования и теорией гравитации. Или первотолчка.

Главный вопрос уже сейчас вовсе из другого измерения и вызывающе резок: а, собственно, по какому праву здесь вообще правят? Не именно эти, но и все, кто был до них и придет после. Только кажется, будто здесь все известно и понятно, что менять. Если «государство» так регулярно и легко делают средством перехвата личной власти, общих ресурсов, чужих судеб и жизнью, зна-

чит, мало этот инструмент по-разному затачивать и передавать из рук в руки, даже если эти руки с каждым разом все чище, головы горячее, а сердца как лед.

Более того, здесь мало и затертых сентенций про то, что надо менять «не фигурантов, а систему». Речь уже не о качестве легальности, но о самой природе легитимного. Это уже проблема не организационная, а сущностная. Обнаружив, что вождь не вечен и что у него тоже есть спина, не защищенная от травм и друзей, народ озадачился будущим: как из этого загона не просто выйти, но так, чтобы более не возвращаться туда же, откуда только что с дикими мучениями выби- рались. Люди открыли сундук власти, увидели в нем привычные по- литические вещи и собрались их перетряхнуть: что-то выбросить или заменить. Но стоит задуматься о том, почему все прошлые ревизии и освежающие процедуры до сих пор не дали надежных, устойчивых результатов, как тут же открывается еще один слой, а там второе дно, под ним еще одно, такое же ложное... Когда же рядом шкаф с книгами по философии политики и государства, этот сундук и вовсе превра- щается в бездонный колодец, только сверху прикрытый «realpolitik», но в глубине скрывающий микрофизику власти и ее метафизику. Там сплошь нерешенные и даже не поставленные вопросы – а значит, и место не найденных и потерянных ответов, необходимых для выхода из тупика, но у поверхности не встречающихся.

За последнее время Россия успела в разных долях и акцентах испытать почти все известные обоснования отношений господства и подчинения – трансцендентальные и сакральные, идеологиче- ские и социально-психологические, рационально-прагматические, операционально-технологические и даже банально силовые. Мы, будто в съемке рапидом, упаковали в эту четверть века едва ли не всю мировую историю оправдания политики и почти полный ком- плект теорий власти с соответствующими им моделями отноше- ний и конструкциями правления. Гегелевское «совпадение истори- ческого и логического» в нашей хронике чуть хромает, но это лишь подтверждает правило, снимая иллюзию, будто все это время тип властвования был у нас хотя бы примерно один.

Падение рейтингов и накал протеста рассеяли иллюзию от- носительно «полицейского государства общего блага». Тотальной замены политики полицией не произошло, а с «общим благом» все еще хуже, хотя мотив «лояльность за порядок и хлеб» все еще со- храняет инерцию.

Признание за властью «права» на цинизм, коварство, обман и насилие через мифологию сегодня уже невозможно, равно как и оправдание через Особое Знание про государственный интерес (макиавеллианское *ragion di Stato*). Перед сдачей президентского кресла на временное хранение случился взрыв активности в сфере стратегического планирования. Сейчас и эта модель не работает: эпическое полотно «Он знает все» и вовсе рассыпалось – больше этого формата не будет. В высшую политику Путина втолкнули через личную популярность, нагнетавшуюся прежде всего фоном, который создал Ельцин: от противного (Путин как не-Ельцин). Сам кандидат на тот момент был типичный «who is?», но уже была атмосфера ожидания чего-то дееспособного. И хотя все держалось на антихаризме позднего Ельцина, в начале славных дел сыграла именно харизматическая доминация. Две остальные схемы Макса Вебера не работали: рациональная вера в законность порядка была слишком условной, а опоры на традицию не было вовсе. Теперь и остатки харизмы тают на глазах.

Миф о «лихих 90-х» питает еще одну идеологему: якобы Путин обуздал Гоббса в России, прекратив «войну всех против всех» в стране, ухитрившейся в новейшей истории впасть в «естественное» (догосударственное) состояние. Но Путин победил не войну, а своих врагов в ней. И сейчас нагнетает новый всплеск политического милитаризма: война (еще холодная, но уже гражданская) развязана именно властью, легитимация которой как миротворца все более абсурдна.

Решающее событие страна пережила в самом начале 90-х: она прошла точку небытия и момент учреждения новой государственности. Это могло бы стать основой новой легитимности, если бы с Конституцией не обращались, как сейчас. Кроме того, известно, что такие учредительные акты не проходят без идеологии как светской религии – если не питать иллюзий по поводу деидеологизации и понимать, что антикоммунизм и критика засилья идеологии сами идеологичны. Но и эта «опора» рассыпалась, а новую национальную идею Старая площадь так и не изобрела. Не осталось теорий, которые можно было бы подвести под эту шатающуюся, падающую конструкцию. Но и саму власть уже нельзя рассматривать в привычной логике. Она диффузна, проникает во все поры

отношений и повседневности. В играх легитимации общество активно и порой само же подталкивает начальство к тому или иному способу действия.

Богоданное самодержавие у нас, похоже, до сих пор вспоминают с вожделением. Помазанник и династия (хотя бы и не родовая, а через «политическую фамилию») в России в натуральном виде уже нереальны, но братание с патриархом создает узнаваемый фон. Плюс праздничные стояния, дележ добычей от аннексий и контрибуций в стране-вотчине, обмен дарами, символическими и не очень. Земли, памятники архитектуры и произведения искусства в обмен на безоговорочную поддержку. Показателен эпизод в ХХС. Если бы не столь адресная, персонифицированная просьба к Богородице, такого скандала не было бы даже близко. В итоге – интереснейшее сращивание светского закона, церковных норм и политики во всем ее неподражаемом цинизме. В светском процессе на равных участвуют ссылки на 62-е и 75-е правила Трулльского собора, а за кадром стоит Некто Невидимый, но земного происхождения. «Попраие святыни» – ровно про него. Более того, это было кошунство не просто сакральное или политическое, а задевшее именно «симфонию» власти и церкви.

Все это слабый отблеск того, что происходило в средние века, когда священная власть пыталась опираться на светское право, которому тоже приписывалось сакральное происхождение, но уже через суверена. Тогда это было связано с борьбой за инвеституру (право назначений) – здесь также утверждается власть над вертикалью. Поскольку и сейчас подлинное происхождение главных законодательных инициатив ясно, то наш президент тоже является, по сути, *lex animata* – «воплощением юстиции». Это почти пародийный вариант модели «двойного тела короля», которую детально исследовал Эрнст Канторович. Согласно абсолютистской версии, у короля есть обычное тело, брренное и подверженное всем человеческим слабостям и недугам, и тело мистическое, вечное, как земное инобытие Христа. Средневековые юристы прямо называли эти два тела «естественным» и «политическим» – «подставка под корону» (Фуко). В нашем случае видна неосмысленная попытка воспроизвести этот образ вечной сущности навязчивой демонстрацией тела Путина – неуязвимого, защищенного от любых недугов, свободно перемещающегося в любых средах. Оттон II (классика художе-

ственной сакрализации единовластия) тоже парил между небом и землей, но не в телевизоре, а в живописи. Образ «пожизненной вечности» (на прямое бессмертие пока у нас не покушались) вербально выражен в излюбленном девизе Путина «Не дождетесь!», имеющем как биологический, так и политический смысл. Если бы это понимали сразу, иллюзий бы было меньше, а рокировку предсказали бы задолго до.

К мифу физической, биологической и политической неуязвимости добавляется мотив безгрешия. Когда церковь заявляет о своей полной (и якобы традиционной) лояльности власти, она тем самым освящает все, что эта власть делает. Власть грешит безоглядно, но неизменно получает индульгенцию. Однако суммарный эффект здесь скорее обратный: из иконы «отца нации» получается недружеский шарж, карикатура в духе картунизма – последнего штриха постмодерна. А сам иерархат своим неумеренным подобострашием и небескорыстием (конечно же, в интересах Церкви!) все более опускается в глазах даже воцерковленных и клира. То же и в навязывании обществу проекта воцерковления школы. Превращение религиозного образования из факультативного в обязательное способствует формированию поколений, обученных верить и не выступать. Здесь ищут сознания не праведного, а воспитанного в послушании – внушаемого и некритичного. Забывают при этом, что люди именно с таким особо внушаемым сознанием сначала «слушают и повинуются», а потом так же неожиданно восстают, слепо свергают и рвут на части. С темным населением протянуть можно дольше, но конец будет ужасней.

В стране произошла смена плана легитимации, а это принципиально. Между легальностью (соответствие закону) и легитимностью (признание прав на власть) нет прямой корреляции. В отличие от понимания легитимности как признания данной власти наилучшей у нас, как правило, работает согласие на вариант хотя бы не наихудший. Пассивный консенсус мешает поставить режим под снос, двадцать лет и два года обеспечивая нужный минимум стабильности.

В замкнутом контуре с положительной обратной связью реакция на события усиливает факторы, ее вызывающие, – система идет вразнос. Первое падение рейтингов вызвало шок и острое желание тут же все вернуть, добавив оборотов машине пиара. Ре-

шающим проколом стала рокировка. До этого фронду смиряла надежда, что режим сможет хоть как-то эволюционировать. Эту иллюзию особо цинично растоптали с остатками репутации местоблюстителя (из равновесия вывел серийный обвал близких по духу автократий, казавшихся железобетонными). Новую стратегию выбрали самую недалёковидную: не возглавить неизбежное, а переломить тенденцию. Ужас перемен породил желание победы «как раньше» – любой ценой, но именно сокрушительной, с огромным запасом прочности по количеству, но не по качеству результатов. Более того, показное небрежение формой понималось как демонстрация силы, уверенности в какой-то иной легитимности, не иначе – харизматической (отсюда столько театра). Однако реальный мотив был от обратного: не допустить того, чтобы выборы громогласно подтвердили плохой тренд.

В политике победитель не может отвечать за все действия своих невменяемых сторонников, но тогда он обязан публично расследовать факты, отречься от виновных, наказывать их по статье и объявлять амнистию всем, кто готов каяться сам и сообщать о деяниях других. Власть демонстративно не сделала ничего – и тем подорвала остатки легитимности, которую в классификации Макса Вебера можно было бы хоть как-то счесть формально-рациональной. В какой-то момент казалось, что протест, возбуждённый поведением на выборах, постепенно схлопнется из-за отсутствия эффекта и перспективы. Однако возникла другая проблема: теперь лидеру надо доказывать ещё и свою легитимность в узком кругу, в своей объективно правящей группировке. Для этого он должен являть хронический активизм, перехват инициативы, невероятную непрогибаемость и неистребимую волю к власти, если надо, то и разрушительную, в том числе в отношении своих. Отсюда long list экзотических актов как высочайшего происхождения, так и низовой инициативы, улавливающей новый дух и подражающей лидеру.

Но Россия уже не та страна, в которой разрыв между легальным и легитимными может быть вечным.

Отношения между властью и людьми, ещё ценящими достоинство и независимость, зашли так далеко, что уперлись в вопрос о природе режима, о его сущностных и даже трансцендентальных обоснованиях. На тот же вопрос наводит и суэта, с какой началь-

ство теперь доказывает себе и миру, что оно не самозванно, а, наоборот, «право имеет». Оказались сломанными все «машины легитимации», ранее примирявшие с режимом подкормленную массу, но и сытую фронду. В итоге в обоснованиях власти не осталось ни традиции, ни идеологии или харизмы, ни даже сомнительных прелестей «стационарного бандита» или «полицейского государства всеобщего блага»... А уж надежда на придание власти некоей сакральности через поддержку РПЦ и подавно выглядит довольно странно. Общество уже явно томится ожиданием инстанции, способной предъявить стране знание о том, что на самом деле с ней происходит и что же, наконец, делать.

### **Полицейское государство присвоения всеобщего блага**

Поползновения осчастливить страну новой версией полицейского государства есть для нас проблема: именно здесь глубинный конфликт между правом и произволом накладывается на остаточную популярность полицейской модели в инертной массе. Однако это понятие не всегда было одиозным. Изначально оно имело гораздо более широкий смысл, затрагивало едва ли не все сферы ответственности государства и для своего времени и места было вполне легитимным.

Идея полиции тогда была практически тождественна идее порядка, но особого рода – достигаемого всей мощью государства, в котором счастье подданных, их материальное и даже духовное благоденствие полностью определяется заботой и качеством власти. В компетенцию полицейского порядка входили помимо умиротворения и безопасности также вопросы хозяйственные и бытовые, отчасти «духовные»: уборки и освещения улиц, брака и воспитания, образования и науки, снабжения провиантом и здорового питания, правильного поведения, вплоть до одежды и... выражения лиц.

Регулятивная практика предполагает достойную науку. Впервые термин «полиция» употребил Мельхиор фон Оссе в 1450 г., но классическим считается «Трактат о полиции» Николая Де Ламара (1750 г.). Параллельно с полицеистикой в Германии возникает камералистика, которая начинается с вопросов управления государ-

ственным владением, включая помимо финансов торговлю, разработку недр, лесоводство и пр., но также выходит в более широкую сферу компетенции. В едином деле благоустройства, как отмечают исследователи, *Gute Ordnung und Polizei* немцы часто заменяли простым *Gute Polizei*. Это важно для понимания, что такой тип государства и в постсоветской России сложился задолго до того, как здесь стали шуметь о полицейском режиме Путина, а власть начала без оглядки вводить сугубо полицейские меры подавления протеста. Если проанализировать нашу систему регулирования всякого рода деятельности, прежде всего предпринимательской, мы обнаружим здесь именно эту идеологию: общее благо и счастье подданных исходит от государства как высшей организующей инстанции. Как говаривал Фридрих Великий: «Народу, как больному ребенку, следует указывать, что ему есть и пить».

Прямая противоположность этому – идеология правового государства: *Rechtsstaat* против *Polizeistaat* (в философии – Кант против Вольфа). В развитых странах мы имеем не чистые модели, а разные градации сочетания либерального государства с элементами полицейщины и полицейского государства с элементами права. Но на полюсах эти градации настолько различны, что переходят в качество.

В полицейской модели есть решающий нюанс: власть здесь, хотя и отчасти вписана в закон, тем не менее уполномочена на допроцедурные решения и действия, на легитимное принуждение и насилие «оперативного» характера. Так может поступать в чрезвычайной ситуации полицейский, но таким же правом обладает и представитель регулятора или контрольно-надзорного органа, который может закрыть любое предприятие (даже если для этого нужно судебное решение). Группой таких же чрезвычайно уполномоченных полицейских становится руководство страны. При этом по официальной идеологии и по Конституции мы живем в другой системе отношений, а именно в правовом государстве, в котором все построено на неприкосновенности неотъемлемых прав человека, гражданина, частного лица. Однако если углубиться в систему подзаконных актов, в нормативную базу, в дебри ведомственного нормотворчества и произвольного правоприменения, в суть господствующих здесь отношений, то мы обнаружим дух и реалии полицейского государства если не в классическом виде, то в мо-



дернизации, очень близкой к прототипу. Для постсоветской России это тем более естественно, что она является прямой наследницей экстремальной версии полицейского государства, представленной нашим сталинизмом. Например, адаптация технического регулирования к рынку оказалась у нас весьма своеобразной: с таким же успехом можно было в 30-е гг. перевести НКВД на хозрасчет и превратить в бизнес, доходность которого зависела бы от числа посаженных и расстрелянных. Раньше система шла на запах крови – теперь идет на запах денег.

В этом плане население России условно можно разделить на две большие категории: люди, которым государство дает, и люди, которых это же государство обирает. Понятно, что и те и другие свой доход так или иначе «зарабатывают», но очень по-разному. Это деление не совпадает с границей между сырьевой рентой и производством, хотя и связано с такого рода различием. Скорее здесь срабатывает самоощущение: насколько доход человека зависит от его инициативы и креативных способностей, не слишком связанных с прямым распилом государственного бюджета. В этом смысле страна находится на развилке, условно говоря, XVIII в., когда объективное развитие общества и производства потребовало перехода от полицейского государства к правовому. Наше социальное пространство разделено этим рубежом времени: в одной и той же стране одни люди живут «до», другие «после» с соответствующими политическими предпочтениями. Одним важнее «порядок» и минимальные гарантии – другим защита достоинства и собственности, свобода и маневр, возможность если не определять политику государства, то хотя бы блокировать одиозные тенденции. Между – неопределившиеся, которым хочется и прелестей «порядка», и поводов для самоуважения.

Совсем недавно произошел перелом. Раньше наше государство можно было с оговорками характеризовать как умеренно полицейское – и в плане регулирования быта и деятельности, и в плане политики. Точнее, в плане политики оно уже было неумеренно полицейским, но все же не экстремальным. Затем режим стал терять популярность, куда и как далеко пойдет этот тренд, было неясно. Судя по ураганному рецидиву хватательного рефлекса, во власти есть предощущение агонии, хотя непонятно, куда все это

собираются прятать и как потом легализовывать. Важнее, что происходит в массе, по инерции все еще воспринимающей этот порядок как легитимный.

Здесь тоже постепенно складывается все более отчетливое понимание того, что этот тип власти при всех его полицейских аксессуарах никак нельзя назвать «хорошо упорядоченным» (*well-ordered*) ни внутри еле управляемой вертикали, ни в плане обеспечения повседневной жизни подданных. Зарабатывающие люди тем более понимают, что этот самодовлеющий полицейский аппарат не столько защищает, сколько сам является угрозой – мегамашинной по присвоению всеобщего блага во всех его видах и в неограниченных масштабах. Однако все это было и раньше. Сейчас же осыпается защищавший репутацию «тефлон»: люди перестают отделять высшее руководство от всей этой неприглядной действительности. Легкой истерики наверху оказалось достаточно, чтобы удушающий произвол полицейской машины внизу начал связываться в сознании людей со стратегией верха.

Следующих выборов это «полицейское государство нового типа» не переживет, а другие машины по производству легитимности также восстановлению не подлежат. Но и надолго застыть в явном тупике не получится: есть ряд системных ограничителей, мешающих превращению России в *polizeistaat* типа Белоруссии или Северной Кореи.

## **Государство как миротворец и новый Левиафан**

В этом ряду вариантов легитимности функция государства как верховного миротворца занимает видное место. Образ лихих 90-х в путинской идеологии отработывает одновременно и тактическое, и стратегическое задание. Вроде ясно: был беспредел с огнестрелом – пришел человек и навел порядок. Но это и целая философия, хотя и не всегда осмысленная. У Гоббса государство возникает как инстанция, впервые укрощающая «войну всех против всех». У нас то же и даже более того: власть не просто напоминает, зачем она вообще нужна и почему в стране не обойтись без железной руки, осаживающей горячие головы. Возникает образ первоорождения государства именно «национальным лиде-

ром» и именно в этот момент – в нулевые, с выходом из первобытной дикости усмирением либерального хаоса. Получается, тут не просто «приняли меры», а почти что на ровном месте создали государство, как Петр столицу на болоте. Это скользкий в этическом отношении момент. Лояльность по отношению к Ельцину формально соблюдена. Но замалчивается, что «беспредел 90-х» начал уже при нем входить в берега. Просто спецпропаганда тогда о работе над образом вообще не думала.

Диффузная война в стиле «убийство драке не помеха» была, но ее сдерживало в тех же рамках и ельцинское государство. Но при Ельцине большие деньги вмешивались в большую политику – Путин с этим не покончил, а лишь оставил это право за собой, и только за собой, обеспечивать «мир», но оригинальным способом: он загнал дерущихся бульдогов под ковер и там одних передумил, других запугал. В итоге славной победы образовалась единовременная добыча и регулярная дань. Это позволило купить избранные силовые структуры, политический класс, творческую интеллигенцию, а в итоге и народ, впервые за долгое время вспомнивший вкус минимальных гарантий, «растущих потребностей» и подарков от власти на средства из народного же кармана.

Однако возможен и другой взгляд. Можно считать, что ресурс сырьевого экспорта до этого времени, а именно на момент захвата, вовсе не принадлежал никому. После распада СССР страна на какой-то момент сжалась не до границ РФ, а до условной точки небытия – и тут же начала форсированный бросок внутренней колонизации, о которой проникновенно писали такие мыслители, как Сергей Соловьев, Василий Ключевский и вот сейчас – Александр Эткинд. В этой логике люди, захватившие ресурсы сырьевых продаж, искренне считают, что они не отбирали чужое и общее, а просто подобрали то, что валялось, почти как болтавшуюся под ногами власть. Большие деньги всегда хотят большой власти. Путин решил доказать, что это неправильно: лучше, когда большая власть хочет больших денег. Но поскольку от электората здесь все еще что-то, и даже многое, зависит, это красочное полотно легко выворачивается наизнанку. Эта власть захватила страну, как Чечню: победитель платит дань побежденному. Так же и с оккупированной страной: если не платить побежденному народу дань, «победителя» быстро изгонят. Такое умиротворение бывает стабильным только на кладбище.

В живом обществе оно рано или поздно вызывает протест, которому государство-Левиафан объявляет войну на поражение с неизбежным возвратом к нестабильности и росту конфликтов.

Если же анализировать переход экономики в политику, то миротворческая миссия такого государства предстает еще более спорной, если не провальной. В политике есть две стратегии: процедурно договариваться – или уничтожать врагов в соответствии с заветами Карла Шмитта (оппозицию «друг/враг» Шмитт завещал как основу политического), которому идейное окормление нацизма не помешало остаться одним из глубочайших политических мыслителей века. Но тогда надо говорить не «скрепы», а «фаши», провозглашать принцип «там, где есть полиция, не остается политики» и идти до конца, помня, сколь много в этой философии значит слово «смерть».

Однако тут не получается идти не то что до конца, но даже за известные пределы. Хочется власть употребить по-настоящему, но именно тут тебя нетерпеливо поджидает кровожадная оппозиция, которой для полноты счастья не хватает сакральной жертвы. Риторика войны продолжилась и на президентских выборах. Главные слова на Манежной со слезами на глазах: «Мы победили!». Было не очень понятно, кто это «мы» и кто эти побежденные: конкурентов выбили задолго до. Однако это был вздох человека, который только что избежал Ватерлоо и обеспечил себе что-то вроде Бородина (спасибо, что живой). Осталось превратить протест в род иноземного нашествия, у которого в мыслях только и есть, что раскатать страну и поджечь лодку. Развязав гражданскую войну (пока холодную), ее теперь пытаются представить как национально-освободительную. Но главное в этом милитаризме, пожалуй, другое: власть не только воюет на выживание в большой политике, но и разжигает множество мелких фронтов, стравливая группы и страты, подзуживая и поощряя наиболее конфликтных и агрессивных. Состояние войны пытаются сделать всеобщим, пропитать ею все поры социального организма, все моменты его нормальной жизнедеятельности. Сейчас модно видеть в этом отвлекающий маневр: в пыли общей свалки не видны куда более серьезные дела. Однако эта конспирология не должна отвлекать от «рисков настроения»: сначала раскалываются умы – потом начинают раскалывать головы.

## Метафизика власти: на закате теневой идеологии

Выше мы протестировали формы легитимности в нашей истории; остался момент, важный для XX и начала XXI вв. – легитимация через идеологическое. Постсоветский период начинался с формально-рациональной (процедурной) легитимации, а также с легитимации идеологической и через харизму. С процедурой ясно: за Ельцина и новый порядок (как он на тот момент виделся) тогда проголосовали. То были, по сути, наши первые выборы от души: голосовали за харизматика, а не маразматика.

С идеологией сложнее. С одной стороны, сработал антикоммунизм – от антисталинизма и антибольшевизма до простой усталости от застоя и унылой геронтократии. Но была и усталость от всего идеократического, от засилья идеологии как таковой – идеологическая идиосинкразия. В хрониках века это был еще один перевертыш «изживания через гипотрофию»: перехлесты идеологизма, агрессивной социализации, этатизма и имперскости породили отдачу – неприязнь к «кормлению периферии» (страны и лагеря), к навязчивой «заботе» государства с его поборами и символическими подарками, ко всякого рода коллективности (социалистическая атомизация), а также к любым формам «идеологической работы». Однако все это довольно быстро себя исчерпало, хотя и с сильными остаточными эффектами: постсоветские будни начали возвращать тягу к коммунальному теплу, к сильному государству и к «железной руке», к имперской державности и геостратегии в высоком стиле «он уважать себя заставил». Лучшего выдумать не могли: уже начинало тянуть к тому, от чего все еще тошнило. Но менее всего здесь было ностальгии по идеологии (за исключением идейно озабоченных). У части старшего поколения такая тоска была скорее в «алгебраическом» виде: старики примирились бы с молодежью, будь у нее пусть другие, но убеждения – возмущала безыдейность как таковая.

Но в коллективном рацио доминировал миф о деидеологизации. Люди не видели идеологии там, где привыкли ее видеть: в символике власти и в практиках прямого промывания мозгов. При этом с прежней, если не с большей, силой продолжали (и продолжают) работать скрытые, латентные формы идеологии – своего рода идеологическое бессознательное: когда люди ничего

идейного специально не артикулируют, однако в политической и социальной жизни ведут себя так, как если бы они были убежденными носителями тех или иных представлений, принципов и ценностей. Это как с учеными, думающими, что «наука сама себе философия», но при этом являющимися носителями бытовой метафизики, непромысливаемых мировоззренческих стереотипов своего времени и места – «очевидностей», только кажущихся универсальными и вечными. Все великие ученые были и философами – или не были великими.

Примерно то же случилось и с обществом. Оно оказалось беззащитным перед латентным, скрытым, теневым воздействием (что сейчас мы и расхлебываем), но одновременно оказались пусты высшие уровни идеологического, которые пустовать не могут при любой деидеологизации. Вовсе элиминировать идеологическое нельзя, можно лишь перевести его на следующий этаж сознания, на метарурень. Конституционный запрет на огосударствление идеологии также необходимо толковать – иначе вы получите под эгидой нераскрытой, непроясненной конституции новую государственную монополию на идеологическое, к тому же политически приватизированную. Что мы и имеем. Правовые, законодательные акты, при всей их идейной нагруженности, остаются прежде всего документами юридическими, требующими комментариев, в том числе раскрытия идеологии текста. Иначе вы всегда будете учреждать одно государство (возможно, хорошее), а жить в другом (какое получится). Наши реформаторы вели себя как естествоиспытатели-позитивисты: они полагали, что экономика – сама себе идеология. В жизни иначе: живой идеологический процесс и открытый рынок идей – или вами будут манипулировать те, кто смог приватизировать машину производства и трансляции идеологического.

Путин стартовал в духе привычного прагматизма. На идеологию не замахивались отчасти из осторожности, отчасти в силу все того же неизжитого экономического детерминизма. В проектах грефовского Центра стратегических разработок (ЦСР) уже были отдельные попытки идеологических заходов, но скорее как необязательные довески. Стратегию писали в рамках обычного, «само собой разумеющегося» мировоззрения. Далее прагматизм рассывался по мере того, как стратегический проект начинал давать сбои на практике. Населению так или иначе надо было что-то

говорить, причем достойное власти. Сверхактивный политический пиар проблему не решал: необходимо было нечто логичное и ценностное – еще один нарратив. В отсутствие собственных достижений пришлось, как обычно, отталкиваться от очернения предыдущего периода. Так возникла идеологема «лихих 90-х» с героической мифологией спасения страны от развала, от победы бандитизма, от сплошного братоубийства.

Однако и этот ресурс со временем оказался исчерпан. К моменту сдачи трона на временное хранение уже требовалось нечто более конструктивное и эпохальное. Из «плана Путина» ничего не вышло, о мегапроекте инновационного маневра и «снятия с иглы» пришлось забыть из-за еще большей подсадки на сырьевой экспорт. С возвратом в Кремль стала подводить и прагматика, в экономике и политике. Пришлось идти на действия, которые продвинутой частью населения воспринимаются как «некрасивые», а то и не вполне адекватные.

В этой ситуации обычной теневой идеологии недостаточно. Еще совсем недавно хватало того, что информационный фон и экспертная аналитика наматывали на подкорку неселению то, что власть не могла артикулировать явно, не вступая в противоречие с Конституцией, не ссорясь с местными интеллектуалами и не позорясь перед «мировым цивилизованным». Но сейчас формируется идеология оппозиции, которая в пафосе отрицания смазывает различия отдельных проектов. И эта идеология останется, даже если уличный протест поделится уже не на колонны, а на отдельные демонстрации. Возникла потребность во внятной контридеологии, которая хоть как-то возвышала бы то, что в текущей политике выглядит мелочным и корыстным.

Эта статья начиналась с новейших попыток сакральной легитимации и дружбы с РПЦ. Круг замкнулся. Если идеология – это вера в упаковке знания (а это более не проходит), то начинает мерещиться возможность опереться на знание в упаковке веры, на «идеологию через проповедь». Вовсе не случайно верховный иерарх даже по языку так часто бывает похож на ангажированного политолога и пропагандиста партийной идеологии. Остается последний вопрос – о перспективах такого симбиоза, да и самого режима, при постепенном отпадении всех прочих протестированных властью форм ее легитимации.

## Легитимация снизу – безысходность, терпение, гордыня

При завинчивании гаек стабильность можно какое-то время наращивать, но потом неизбежен срыв. Однако ядерный электорат режима хотя и убывает, но все же сохраняется – возможно, уже не благодаря усилиям власти, а в силу встречных, низовых инерций сознания массы. Здесь особенно много скрытых, латентных мотивов и рационально не разрешимых парадоксов.

Самое простое – признание режима людьми, для которых относительное повышение благосостояния, случившееся за последнее время благодаря некоторому перераспределению сырьевой ренты, является достаточным поводом для моральной легитимации власти. Можно с каким угодно скепсисом относиться к этому типу сознания, однако нельзя не видеть его мотивированности всем ходом советско-российской истории. Как правило, это люди, сформировавшиеся в логике минимальных гарантий, господствовавшей в СССР. Бедность на грани нищеты компенсируется здесь «скупой надежностью будущего», не требующей от человека заботы и инициативы. Можно считать это одной из форм бегства от свободы, но при этом не вредно помнить, что в этом бывало и своеобразное, превращенное инобытие свободного существования, чем-то родственное морали клошаров, ютящихся под мостами Сены и встречающих понимание у хиппующей интеллигенции самых разных стран и континентов.

У нас этот вынужденный эскейп, выражавшийся либо в городской бедности, либо в опущенном или одухотворенном пьянстве, был распространенным стереотипом поведения – одной из форм жизненных стратегий. Но с крушением советской системы и началом рыночных преобразований по этой стратегии был нанесен удар. Люди, плохо приспособленные к ответственности и минимальной инициативе самообеспечения, оказались заброшенными. Тогда у власти хватило ума хотя бы держать повальную безработицу в скрытой форме: люди сидели без денег, но были причастны к «коммунальному телу» и к «государству» (или к тому, что они по инерции считали государством, – например, заводу/управлению на частном предприятии). Система минимальных гарантий начала восстанавливаться еще при позднем Ельцине, но эту социальную



подушку безопасности подложил под себя именно Путин. И теперь он сравнительно легитимен для всех, кто в этом смысле почти вернулся «назад в СССР».

Но здесь есть развилка в прогнозах на случай ухудшения социальной обстановки. По одной версии, для социальных напряжений достаточно снижения привычных темпов роста благосостояния – тем более при искусственно перегретых ожиданиях. По другой версии, кризис актуализирует логику «коней на переправе не меняют» и породит легитимацию мобилизационного типа. Такие попытки, несомненно, будут. Однако они столкнутся с рядом обстоятельств. Политический протест будет искать союза с протестом социальным, а полностью подавить протестное движение не получится: пришлось бы закрыть страну, а это лишь усугубит кризис, если не вызовет цепную реакцию распада. Далее, эти прогнозы приходится просчитывать в логике неприемлемого ущерба – последствия провала мобилизационного сценария могут быть не менее трагичными, чем при развале СССР. Наконец, даже теоретически шансов на успех мобилизационного проекта много меньше. Есть знаменитая «джей-кривая Бреннера»: в реформах стабильность сначала ослабевает, но затем устойчиво наращается. Но есть и почти пародийная обратная «ню-кривая Рубцова»: при завинчивании гаек стабильность можно какое-то время наращивать, но потом неизбежен срыв – и график стабильности падает вниз почти отвесно, как в той греческой букве. Это, впрочем, относится отнюдь не только к системам социально-политическим.

Под легитимацией обычно понимают признание права данной власти на власть – право править. И это признание толкуется позитивно. Право принуждать выводится из тех или иных преимуществ, особых достоинств людей во власти – благоприобретенных собственными усилиями или дарованных происхождением, свыше и т. п.

Но бывают случаи, когда люди власть как таковую не любят и не признают, но терпят. Порой скрепя сердце и из последних сил, но при этом они не только не участвуют в активном протесте, но даже и выполняют требуемые ритуалы – например, голосуют.

Сказывается здесь и политическая безальтернативность, отсутствие для многих реального выбора – при всем понимании искусственного характера этой безальтернативности. Но и здесь срабатывает фактор социального терпения, которое, естественно,

тоже не бесконечно. При снижении рейтингов до понятного предела и при усугублении социально-экономической обстановки такого рода безальтернативность становится, наоборот, мощным раздражающим фактором, способным при голосованиях производить самые неожиданные эффекты, вплоть до «кто угодно, но только не...». Плюс естественная усталость от персонажа. В таких случаях оппозиции даже не надо раскручивать своих активно задействованных лидеров, к тому же растаскивающих протестный электорат. Достаточно появления сравнительно нейтральной, именно нераскрученной, но морально безупречной альтернативной фигуры (или ряда фигур – с учетом технических методов снятия с дистанции). За таких немолодых, но «политически свежих» лидеров часто голосуют едва ли не все подряд как за гарантов прекращения игры без правил и восстановления правил игры, равных для всего легального политического спектра. Когда возникает ощущение, что такая ситуация назрела, действующее начальство начинает стремительно терять легитимацию через безальтернативность и становится «хромой уткой» даже при еще не совсем упавших рейтингах.

Правда, всегда сохраняется иллюзия, что неизбираемого кандидата от власти можно в последний момент накачать, как Ельцина в 1996-м. Но тогда была реальная затяжная борьба: народ и в самом деле можно было напугать призраком коммунизма и угрозой реванша. Теперь власть блистает всеми своими достоинствами в выжженной политической пустыне, и пугать уже много раз пуганое население ей просто нечем.

В таких случаях, когда проигрыш для властвующей группировки равносителен гибели, бывают оптимальны переходные, «шарнирные» варианты, когда в логике почти универсального компромисса пропускают кандидата, более или менее приемлемого и для власти, и для оппозиции – что-то вроде нынешнего Кудрина. Правда, потом вполне возможна реинкарнация прежних порядков (как это в итоге оказалось при переходе от СССР к РФ), и тогда радикалы начинают клеймить соглашателей за предательство принципов, идей и самой революции, однако часто компромиссу реальной альтернативой бывает либо продолжающаяся, хотя и обреченная, реакция, либо массовая бойня, за которую перед людьми и историей приходится отвечать не меньше, чем за временный тактический сговор с уходящим режимом.

И наконец – любители остатков имперского величия, крутой риторики. Это тоже мотив спонтанной, «естественной» легитимации, хотя и усиленно культивируемый. Здесь тоже сложный баланс. С одной стороны, некоторым все еще нравится, когда власть рассказывает им, как она круто общается с геостратегическими оппонентами вставшей с колен России. Но все больше людей, готовых повторять вслед за недавно прославившимся фермером Мельниченко: «Россия производит впечатление великой страны. И больше ничего не производит». К тому же никакая гордость за внешнюю политику в наше время не может компенсировать удушающего стыда за манеры и методы в политике внутренней. Особенно когда политически мотивированные акции выглядят не только жестокими и якобы устраивающими, но еще и гомерически смешными по исполнению.

Один из видов легитимации власти, по М.Веберу, наряду с традицией и формально-рациональной процедурой – харизма. Процедуре у нас всегда следовали, мягко говоря, без фанатизма, а традиция имеет настолько «рваный» вид, что скорее убеждает в обратном: власти вообще свойственно то и дело рушиться и учреждаться заново на руинах. Отсюда – особые ставки на харизматику, тем более естественную в нашей культуре инстинктивной персонификации власти.

На орбиту Путина вывела симпатия «от противного», Путин как не-Ельцин. Работала этимология слова: древнегреческое *χάρις* означает «милость, дар». Стартовое признание Путину именно подарили, но не свыше, а свои и ради дела. Фигурант не давал поводов для преклонения, безоговорочного доверия и признания неограниченных или хотя бы сверхординарных возможностей. Но были нормальная энергия и, как тогда казалось, расчетливый выбор Ельцина.

Путин во многом развил то, что сначала пропагандистски присвоил. Ему в этом не мешали, чтобы не портить игру: в дарении был элемент жертвы. Затем эта харизма набирает силу, но раздваивается. Путин-1 – благодетель для бюджетопоглощающего «большинства», даритель остатков сырьевой ренты; эта его харизма импортная, как и наши «современность» и «стабильность». Путин-2 – покровитель институциональных реформ начала «нулевых», надежда реформаторского актива и части либерального

крыла, полагавшего, что авторитаризм сможет обуздать среднюю и низовую бюрократию и либерализовать экономику прежде всего для малого, среднего и не сверхкрупного бизнеса. Это миф, что реализация такого курса была обречена по системным причинам. Изнутри было видно, сколь много значили субъективные факторы: недостаток политической воли у одних и банальная продажность других. Но в итоге все же хвост так отрулил собакой, что за несколько лет буквально сменил ей масть и саму породу.

Тогда же зазвучало слово «сценичен». Хотя ничего особенного в этом актерстве не было, но, видно, очень хотелось аплодировать. Поэтому не обращали внимания на то, что каким-то волшебным образом никого тоже сценичного даже из своих рядом и близко не появляется. Та же «харизма от противного»: Ельцин создал для Путина фон – Путин фон вокруг себя просто выжег.

Важный атрибут харизмы – святая вера в непогрешимость. Как известно, вождь не может ошибаться, даже в мелочах! Это просто: за все время правления в адрес вождя не было высказано ни одного критического замечания ни со стороны своих, ни в хотя бы одном из СМИ с приличным охватом аудитории. Ни одно-го! Однако рейтинг вовсе необязательно подрывается компроматом. Есть простая усталость от образа, есть объективное снижение темпов при искусственно перегретых ожиданиях – всего лишь «ухудшение улучшения». В начале 2011 года социология напугала и началась форсированная накачка харизмы. Помогло не слишком, поскольку подлинная харизма, как настоящая любовь, – дар одnorазовый, разбил – не склеишь.

В таких ситуациях лишние старания опаснее недоработок. Бросается в глаза наигрыш, и под подозрения попадает и сама святость: это зачем же он так старается? Зона недовольства начинает перегреваться и закипать, все более воздействуя на нейтральных и даже лояльных. Нарастают эффекты анти-обаяния, анти-харизмы, лишний раз подтверждая, что и в политике от любви до активного неприятия один шаг.

Однако остается еще «внутренняя харизма»: для себя и для своих. Для себя, чтобы самому держать тонус; для своих, чтобы держать в тонусе окружение, рано или поздно задумывающееся о том, насколько рационально сохранение безоговорочной лояльности в меняющихся условиях. Отсюда кажущаяся абсурдной

упертость в самых провальных начинаниях, явно вредящая и делу партии, и самой личной харизме. Это называется «лучше не связываться». Но и такая стимуляция работает лишь до поры – потом только хуже.

Как бы там ни было, уже видно, что ставка на харизматическую доминацию больше не пройдет. Даже если раскручивать популярного Шойгу. Голосование обеспечить можно, но жизнь – это не только выборы. В стране все меньше желающих гоняться за очередным спасителем и все больше ценящих системное и безличностное, но устойчивое. Это важно для будущего, но будет зависеть от того, какие страны будут выбраны опорными: внушаемая масса или рефлектирующий актив.

Более 20 лет наша политическая система поочередно тестирует едва ли не все известные из истории и теории формы легитимации, ни на одной долго не останавливается, но каждую рано или поздно дискредитирует. В итоге эта политическая постройка приобретает черты безупрочной конструкции: у нее почти не остается иных (тем более метафизических) обоснований, кроме промывания мозгов и голой силы. Теоретический предел такого состояния – режим оккупации.

Чем дальше, тем менее настроено общество прощать проколы в легальности (прежде всего злоупотребления на выборах), компенсируя их иной легитимностью, в обход опошленной формально-рациональной процедуры. Наметился повторяющийся цикл: делается акцент на очередном более или менее экзотическом варианте легитимации, какое-то время схема срабатывает, но затем ломается и начинает работать против заказчика.

Так было с попыткой нащупать какое-то подобие сакральной легитимации: но в итоге пришлось уводить патриарха с политической авансены на задний план, если не за кулисы (все заметили?). Так было с мифом «постсоветского Левиафана» – с акцентом на идею государства как миротворца в войне всех против всех («лихие девяностые»). Теперь сама же власть и воспринимается как главный разжигатель розни и конфронтации, начиная с военизированной риторики и лексики политического милитаризма и заканчивая прямым стравливанием. Так было с «формулой Макиавелли»: после периода активной демонстрации обладания высшим знанием об истинных интересах государства и путях движения в истории

сейчас буквально бьет по глазам вопиющий стратегический вакуум. Без «модернизации» и «смены вектора» наше будущее опустело, в нем не просматривается ничего, кроме возвращающегося прошлого, к тому же темного. Власть понимает происходящее хуже подданных, а грядущее видит в горизонте не более полугода.

Так было со всеми идеологическими экспериментами. «Суверенную демократию» в итоге отрыгнули вместе с изобретателем концепта. Перестает работать даже модель «стационарного бандита»: вместо разумного дисконтирования поборов власть их системно наращивает, а публичные услуги превращает в механизм насильственного изъятия средств у населения. В итоге отношение власти к месту и людям все более напоминает режим набега, беспощадной «гастроли». Похоже, уже не важно, что будет завтра с этой зоной кормления и обитающим на ней тягловым скотом. Постепенно исчерпываются и факторы негативного «признания» – легитимность терпения, страха перед изменениями к худшему, неясность альтернативы. Конструкция зависает. Она еще парит на восходящих потоках, иногда даже кажется, что уверенно, но это именно парение, в котором в итоге чаще падают, чем мягко планируют на запасные аэродромы.

Во всех этих более или менее судорожных попытках разыграть, в крайнем случае, хотя бы имитировать тот или иной формат легитимации есть изначальная ущербность. Нормальная легитимность в целом одновалентна и не предполагает суммирования чего бы то ни было в качестве решающего метода. Если власть «от Бога», то ей не нужно, даже грешно и во вред разыгрывать какие-то иные спектакли. Если главенствуют идеология и (или) харизма, народ можно вести на любые баррикады и самоубийственные подвиги, но нет нужды подкупать в режиме «залить деньгами». Если честно срабатывает формально-рациональная процедура, все остальное вторично, а если чего-либо не хватает, это компенсируют новой легитимацией через ту же электоральную процедуру. У нас же срабатывает принцип «до кучи», а в итоге не остается хотя бы умозрительного варианта, какую бы еще легитимность приспособить в качестве опоры. Не остается времени от запуска проекта до его дискредитации. Теперь даже убогие попытки приписать лидеру окормление страны «новой моралью» (триада: Труд, Родина, Семья) тут же воспринимаются не как сборка ключевых ценностей, а,

наоборот, как опасное расчесывание самых больных мест: именно труд и родина более всего девальвированы нашей моделью рентабельной экономики, а семья здесь – скорее объект шантажа нестабильностью и подкупа подачками.

Это чистый цугцванг, когда любой ход ухудшает положение. Опросы и особенно фокус-группы показывают, что в борьбе с коррупцией люди увидели не столько борьбу, сколько саму коррупцию – ее масштабы и статус участвующих, невзирая на лица, включая... Кампания по изничтожению НКО, конечно же, ничуть не остановит людей принципиальных, а тем более пламенных борцов, но при этом в массовом масштабе политизирует ранее совершенно мирные и безобидные инициативы, помогающие больным людям или вымирающим птицам.

Власть не может не чувствовать кризиса легитимности и нарастающей критичности ситуации. Отсюда спектакли легитимности, часто дающиеся в первую очередь для одного лица, для вливания в него энергии «поддержки». Отсюда же множество инициатив и проектов, подчеркивающих нормальность ситуации и создающих видимость устойчивости существующего порядка: саммиты, чемпионаты, единые стерильно-непротиворечивые учебники, циклопические музейные затеи (будто больше не на чем сосредоточиться и некуда больше тратить и без того дефицитные «ярды» рублей). Что-то вроде парада на Красной площади в почти осажденной Москве – но там и маршировали с другой мотивацией.

На этом фоне существует практическая, не виртуальная внутренняя политика, которая выглядит агрессивно наступательной, но, по сути, реализует паническую стратегию превентивной обороны, выстраиваемой к моменту, когда провалы легитимности обнажатся окончательно, а защищать власть не выйдет никто. Как это бывает в купленной верности, для власти с дефицитом легитимности в критические моменты одно спасение – война. Либо маленькая, но победоносная, либо гражданская, но тактическая. Все, что сейчас делается особо значимого, направлено на поляризацию друзей и врагов режима, на обособление этих зон, на устранение смягчающих контактов между ними (таких, например, как в НКО, не тягающихся с режимом, но своей гражданской активностью в чистом и притягательном виде реализующих повседневные прак-

тики либерализма). Это еще и устранение потенциального конкурента, моральная легитимность которого заведомо и на порядок выше, чем у слишком демонстративно не бедствующей власти.

Обычное дело: недостаточно легитимная власть выводит всякий протест из пространства легального, а своих сторонников собирает будто бы для решающего боя не на жизнь, а на смерть. Так что политический ландшафт все более приближается к картине то ли Ватерлоо, то ли Бородино с политическими флешами, пропагандистскими редутами и обходными маневрами против старой гвардии правозащитников, честных социологов и любителей дикой природы.

Картина до боли знакомая – тем более о последствиях лучше подумать заранее.